
ЛИТЕРАТУРА XX–XXI вв.

Русская литература

УДК: 82.0+821.161.1+82–6

DOI: 10.31249/lit/2024.03.09

РУСАНОВА М.М.¹ ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ В ДНЕВНИКАХ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ ИЛИ ЕЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ?[©]

Аннотация. В дневниках революционной эпохи явления окружающей социально-политической действительности осмысляются сквозь призму художественной литературы. Произведения, которые актуализируются в это время, почти не появлялись прежде в подобном контексте в читательских дневниках, но были частью литературных и политических дискуссий. На примере восприятия романа «Бесы» Ф.М. Достоевского предпринимается попытка сопоставления способов введения литературных реминисценций в тексты революционной эпохи по сравнению с предыдущей традицией. Тропологическая структура реминисценций анализируется с опорой на основные положения, общие для лингвистики и структуралистской поэтики. Выясняется, что до 1917 г. персонажи романа трактуются как образы и типы; отсылки к мотиву бесовства воспринимаются в основном в качестве метафоры. В революционную эпоху сравнения персонажей с современниками дневниководов основаны на метонимических связях; в репрезентациях бесовства преобладают реализованные метафоры. Делается

¹ **Русанова Марфа Максимовна** – аспирант кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская наб., 7–9–11, 199034, Санкт-Петербург, Россия; <https://orcid.org/0009-0002-3888-6567>; st055030@student.spbu.ru

© Русанова М.М., 2024

предположение, что, несмотря на изменение характера восприятия реальности – сближение художественной литературы и современности, – окружающее продолжает мыслиться в категориях той же риторической традиции.

Ключевые слова: тропы; метафора; метонимия; дневники революционной эпохи; эго-документы.

Для цитирования: Русанова М.М. Литературные реминисценции в дневниках революционной эпохи : продолжение традиции или ее переосмысление? // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7: Литературоведение. – 2024. – № 3. – С. 135–151. – DOI: 10.31249/lit/2024.03.09

RUSANOVA M.M.¹. Literary reminiscences in the diaries of the revolutionary time: a part of tradition or its changing?©

Abstract. Diaries authors of the revolutionary period have compared the surrounding socio-political reality with fiction prose. The pieces of art in the similar context had appeared before the Russian revolutions of 1917 in literary and political discussions but not in readers' diaries mainly. On the material of the novel reception *The Possessed* by F. Dostoevsky the article analyzes the ways of introducing literary reminiscences in the revolutionary time in relation to the previous tradition. Analysis of reminiscences tropological structure bases on the main principles of linguistics and structuralist poetics. It turns out that before 1917 recipients had seen the novel characters as images and types; they perceived demonic motives as a metaphor mainly. In the revolutionary time comparisons of characters with the diarists' contemporaries based on metonymic connections; realized metaphors predominated in the representations of demonicity. Perhaps, despite the change of the perception of the reality that is in the rapprochement of fiction and modernity, recipients perceived the environment in the categories of the same rhetorical tradition.

¹ **Rusanova Marfa Maksimovna** – graduate student of the Department of History of Russian Literature of St. Petersburg State University, St. Petersburg State University, Universitetskaya embankment, 7–9–11, 199034, St. Petersburg, Russia; <https://orcid.org/0009-0002-3888-6567>; st055030@student.spbu.ru

© Rusanova M.M., 2024

Keywords: literature tropes; metaphor; metonymy; diaries of the revolutionary era; ego-documents.

To cite this article: Rusanova, Marfa M. “Literary reminiscences in the diaries of the revolutionary time: a part of tradition or its changing?”, *Social sciences and humanities. Domestic and foreign literature. Series 7: Literary studies*, no. 3, 2024, pp. 135–151. DOI: 10.31249/lit/2024.03.09 (In Russian)

Художественная литература неизменно сопровождала жизнь русского образованного человека на протяжении трех столетий¹. Исследователи считают, что многочисленные свидетельства рефлексии над художественными произведениями в дневниковых записях можно назвать особенностями личных документов XVIII–XX вв., – это неотъемлемая часть этапа взросления². Вместе с тем некоторые упоминания произведений в таких записях нельзя отнести лишь к проблематике читательского дневника³. Так, например, в революционное время после 1917 г. дневники поколения русских интеллигентов, рожденных в 1870–1880-х годах, пестрят отсылками к художественной литературе. А.Н. Бенуа, И.С. Ильин, С.П. Каблуков, М.М. Пришвин, А.И. Шингарев активно обращаются к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя, «Сфинксу» И.С. Тургенева, поэмам А.К. Толстого, «Человеку из подполья», «Братьям Ка-

¹ В русской традиции научное изучение этой проблематики было начато Л.Я. Гинзбург в работе «О психологической прозе» (впервые опубликована как отдельная монография в 1972 г., ранние размышления по этому поводу относятся к 1930-м годам). Современное литературоведение продолжает развивать это направление. Например, в монографии А.Л. Зорина «Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века» (2016) исследуется становление традиции следовать поведению литературных героев при выборе собственных жизненных стратегий на примере дневника А.И. Тургенева.

² Например, О.Г. Егоров на материале эго-документов XIX в. показывает, что все дневники периода индивидуации содержат литературные отсылки. На этапе становления личности выделяются такие элементы, как составление жизненного плана; создание круга чтения, записывание цитат из любимых книг с комментариями; поиск образа наставника, собеседника, старшего товарища, формирование системы нравственных норм и требований; фиксация стадий роста сознания; фиксация впечатлений от путешествия [Егоров, 2003, с. 25–40].

³ По-видимому, эти упоминания здесь носят иную функцию, чем та, что реализуется в размышлениях о только что прочитанном, о самоидентификации или самовоспитании в читательских дневниках.

рамазовым», «Преступлению и наказанию», «Селу Степанчикову и его обитателям» Ф.М. Достоевского, «Мелкому бесу» Ф. Сологуба и т.д. В этих дневниках общественно-политические лидеры и целые социальные классы находят соответствие в художественных образах. При этом реминисценции¹ перечисленных выше произведений традиционно были частью общественно-политических и литературных дискуссий и, насколько мы можем судить, встречались преимущественно в читательских дневниках. Чтобы понять, чем отличаются функции упоминаний художественной литературы в дореволюционной печати и в дневниках революционного времени, следует провести их сопоставительный анализ. Учитывая разные цели и коммуникативные условия высказываний публицистов и авторов дневников, мы сравним способы введения в эти тексты элементов литературы и даже наметим эволюцию рецепции, так как схожее осмысление действительности при помощи литературных реминисценций выходит за пределы определенного жанра².

Одним из произведений, эволюция рецепции которого довольно отчетливо видна в публицистических и частных высказываниях эпохи, стал роман «Бесы» Ф.М. Достоевского. Исследователи уделяли внимание преимущественно двум плоскостям восприятия романа (в основном в XX в.): в религиозно-философском дискурсе и в историко-литературной критике [Ляпушкина, 2016]. Нас будет интересовать другая плоскость – рецепция «Бесов» в аспекте внеположной роману реальности; именно этот ракурс объединяет первые публицистические отклики и отстоящую от них во времени рецепцию революционной эпохи. Обратимся к

¹ В фокусе исследования оказываются явления разного рода – мотивы, образы и т.д., однако все они эксплицировано отсылают читателя к мирам художественной литературы, поэтому мы используем здесь понятие реминисценции в самом общем значении отсылки к литературному произведению [Федорова, 2001].

² Почти идентичные конструкции сравнения зафиксированы нами не только в дневниках революционной эпохи (Каблуков, Ильин), но и в публицистических текстах (статья П.Я. Рысса, о которой скажем ниже, кадетские газеты). Более того, записи личных документов 1917 г. часто учитывают традицию рецепции произведений в публицистике прошлого и настоящего. Особенно это видно в дневниках Каблукова, Пришвина, Шингарева, где упоминания литературных критиков прошлого соседствуют с вырезками из революционных газет.

трем хронологическим срезам: прижизненная критика романа (прежде всего, народническая), переосмысление «Бесов» после 1905 г. (сборник «Вехи»), актуализация образов романа после событий 1917 г.¹

Подобный сопоставительный анализ может проводиться на уровне стилистическом или семантическом, однако в свете специфики и проблематики нашего материала наиболее продуктивным кажется анализ тропов, с помощью которых вводятся реминисценции. Ведь материал нашей работы, с одной стороны, принадлежит к области non-fiction², а с другой – плотно соприкасается с миром художественного текста. Это требует подхода, который учитывал бы особенности повседневной речи (язык дневников), речи поэтической и исторически обусловленных изменений мировоззрения реципиентов. Исследование тропов позволяет охватить эти сферы, поэтому оно востребовано не только литературоведением и лингвистикой, но и философией, риторикой, психоанализом. Таким образом, мы будем балансировать между классической риторической трактовкой тропов, которую развивает современное литературоведение, с одной стороны, и лингвистической³ и антропологической⁴ теориями, с другой стороны. Итак, постараемся определить

¹ Мы обратимся как к известным и давно введенным в научное обсуждение в связи с другими проблемами текстам (прижизненные отзывы о «Бесах», статьи из сборника «Вехи», дневник М.М. Пришвина), так и к тем, что не становились предметом отдельного анализа в научном поле (дневники И.С. Ильина, С.П. Каблукова, А.И. Шингарева и др.).

² Граница fiction и non-fiction остается литературоведческой проблемой, разные ее грани отражены, например, в дискуссии, прошедшей в ИМЛИ РАН (круглый стол «Литература и документ: теоретическое осмысление темы» (2008)), участники которой во многом опираются на работы П.В. Палиевского о документальном начале в литературе; результаты круглого стола опубликованы в «Литературной учебе» (2009. № 1, 3).

³ Напомним, что античные риторик не распространяют применение тропов на анализ обыденной речи; на это в 1970–1980-е годы обратили внимание когнитивные лингвисты (прежде всего, Дж. Лакофф и М. Джонсон). В этой статье мы в большей мере опираемся на те лингвистические работы, что приводят определения тропов, схожие с литературоведческими и философскими.

⁴ Хотя в фокусе нашего исследования окажется не личность и ее субъективность, а тропологическая структура реминисценции, полученные результаты все же могут характеризовать изменения в мировосприятии субъекта. На данном этапе мы лишь намечаем возможность отождествления форм мышления и по-

конструктивный фактор (прием), который соединяет два семантических ряда (действительности и художественного мира).

Анализ тропов в самом тексте романа не входит в задачи нашего исследования; заметим лишь, что произведение дает возможность интерпретации его элементов в качестве мотивов, образов, типов, метафор, символов. Реципиенты используют практически все эти возможности, сравнивая образность романа с современной им действительностью. Однако, согласно нашей гипотезе, в разные хронологические периоды преобладало осмысление текста через определенный троп.

В ряду последних уточнений скажем, что в анализируемых рецептивных откликах авторы обращаются к элементам романа двух типов: к образам героев и мотивам «бесовства». Рассмотрим подробнее второй тип. Как отмечали исследователи, слово «бес» и различные производные от него появляются в описаниях самых разных персонажей: Петра Верховенского, Ставрогина, Варвары Петровны, Гаганова, Лизы и др. [Булгакова, Седельникова, 2018, с. 129–132]. Композиционно выделенное обращение к этому мотиву представлено в трех элементах романа: в двух эпитафиях, предваряющих основной текст (пушкинском и евангельском), и в речи старшего Верховенского. Напомним, что второй эпитаф вводит сюжет из Евангелия от Луки об исцелении Иисусом бесноватого (изгнанные бесы вселяются в свиней, и те падают с обрыва, исцеленный же сидит у ног Иисуса). В главе, предшествующей «Заключению», монолог Степана Трофимовича («...видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней...») [Достоевский, 1990, т. 7, с. 610] еще раз возвращает читателя к сюжету Евангелия.

В первых прижизненных отзывах¹ (их авторы – Н.К. Михайловский, В.П. Буренин, П.Н. Ткачев, В.Г. Авсеенко и др.) персонажи воспринимаются как удачные или неудачные образы и типы. Например, Михайловский в статье «О “Бесах” Достоевского» (1873)

вестования, поэтому не будем подробно рассматривать работы Э. Кассирера, Х. Уайта, А.Я. Гуревича, Э. Панофски и других исследователей, работавших в разных областях и направлениях, но так или иначе изучавших этот вопрос.

¹ Как известно, «Бесы» при жизни автора не переиздавались после выхода отдельной книги, а абсолютное большинство отзывов (всего более 40) [Белов, 2011, с. 70–73] было отрицательным [Чернышов, 2018, с. 130].

выделяет группы персонажей-типов¹ (скажем, идеалист 40-х годов Степан Трофимович Верховенский), женских неправдоподобных героинь («исторических барышень») и образы, «которые составляют исключительную собственность г. Достоевского» [Михайловский, 1995, с. 52] (молодое поколение в романе). К этому времени уже закрепились репутация Достоевского – создателя героев-идей, поэтому критический анализ образов сопровождался, прежде всего, обсуждением теорий персонажей. Так, Ткачев подробно пишет об *idée fixe* каждого героя [Ткачев, 1933, т. 3, с. 35–41]². Кроме того, в персонажах Достоевского видится неудачное изображение участников дела Нечаева и революционного подполья в целом ([Михайловский, 1995, с. 60], [Авсеенко, 1873, с. 829], [Ткачев, 1933, т. 3, с. 35]).

Михайловский пишет о монологе Степана Трофимовича: «Бесноватый больной – это Россия, в которую вселились бесы, в точности не известно когда. Бесы – это утрата способности различать добро и зло. Стадо свиней, пасущееся недалеко, – это оторванные от народной почвы *citoyens du monde*, это “мы, мы и ты”³, и Петруша *et les autres avec lui*”» [Михайловский, 1995, с. 72]. Определение «Бесноватый больной – это Россия» основано на стремлении указать на природу субъекта с помощью оценочного слова, образованного от существительного «бес». Такой принцип соположения лежит в основе метафоры⁴. Метафора обычно состоит из субъекта и предиката; последний характеризует субъект особым образом – указывает на его скрытую характеристику: метафора «призвана создать такой образ объекта, который бы вскрыл его латентную сущность» [Арутюнова, 1990, с. 25]. Слово «бес» не указывает на отнесенность России и «*citoyens du monde*», под ко-

¹ Михайловский понимает типы в рамках реалистической критики. Последующие реципиенты придают этому слову разные значения.

² Ср. у Михайловского [Михайловский, 1995, с. 55–57].

³ Так в тексте цит. изд. В рецензии 1873 г. («Отечественные записки»), перепечатанной в «Сочинениях» Михайловского 1881 г. (т. 2), как и в романе, используется местоимение «те». – *Прим. авт. ст.*

⁴ Сегодня ведутся споры о возможности дифференциации сравнения и метафоры, однако общепризнанным остается синтаксический маркер: в классическом случае сравнение состоит из трех элементов «(А сходно с В по признаку С)», метафора же «двухчленна (А есть В)» [Арутюнова, 1990, с. 28].

торами Михайловский понимает русскую интеллигенцию, к определенным классам явлений подобно метонимии, но дает оценочное и образное поле, в пределах которого можно трактовать субъект метафоры¹. Здесь также очень интересна перемена последовательности главного субъекта и характеризующего его предиката – критик расшифровывает метафору, поэтому сначала вводится предикат, затем субъект. Действительно, он не согласен с такой интерпретацией реальности. «Обратная» метафора помогает освещать значения, которые, по его мнению, подразумевались писателем. Свое собственное видение действительности Михайловский также передает метафорой (уже с привычным порядком следования субъекта и предиката), переходящей в образ или в реализованную метафору: «В вашем романе нет беса национального богатства, беса, самого распространенного и менее всякого другого знающего границы добра и зла. Свиньи, одолеваемые этим бесом, не бросятся, конечно, со скалы в море, нет, они будут похитрее ваших любимых героев <...> Вы не за тех бесов ухватились. Бес служения народу – пусть он будет действительно бес, изгнанный из большого тела России, – жаждет в той или другой форме искупления <...> Рисуйте действительно нераскаянных грешников» [Михайловский, 1995, с. 82–83]. Главный элемент реализованной метафоры выступает в роли субъекта или согласуется с глаголом, относящимся к реальному субъекту: «Бес служения народу <...> жаждет в той или другой форме искупления».

Тот же способ введения реминисценции видим и в других отзывах. Ткачев, например, пишет: «...все эти ваши, там, “мечтания”, “начинания”, “новые люди” и т.п. – все это не более как бесы, вышедшие из большой России» [Ткачев, 1933, т. 3, с. 10]. Здесь отчетливо выделяются два субъекта (новые люди и бесы), один из которых становится характеристикой второго (предикатом). Видимо, критики романа осмысливают этот эпизод в категориях «ложной» или «правдивой метафоры». И Михайловский, и Ткачев «приоткрывают» значение этой метафоры, меняя местами субъект и предикат, т.е. ведут «спор о выборе метафоры», который является спором «об истинной сущности предмета» [Арутюнова, 1990, с. 28].

¹ И аллегория, и метафора, в отличие от символа, способствуют пониманию реальности; символ же «уводит за ее пределы» [Арутюнова, 1990, с. 23].

Заметим, что в отзывах народников, критически оценивающих «правдивость» романа Достоевского, сопоставление образов нечистой силы и современных реалий России именуется аллегорией и метафорой: «...тут есть некоторая претензия. Но ключ к ее уразумению предлагается в виде аллегории, которую не сразу и поймешь» [Михайловский, 1995, с. 63]; «более не остается, как “броситься со скалы в море” и потонуть, т.е., говоря не метафорически, а юридически, окончить жизнь самоубийством или подпасть под действие некоторых статей уголовного кодекса» [Ткачев, 1933, т. 3, с. 10]. Ткачев использует слово «аллегория» и в других случаях, например, рассуждая о творчестве писателя в целом: «Теперь он отрекается от крокодиловой¹ аллегории» [Ткачев, 1933, т. 3, с. 9]; «в своих публицистических статьях г. Достоевский имеет обыкновение выражаться так неясно, неопределенно, так мистически-туманно, так аллегорично (он очень любит аллерию)» [Ткачев, 1933, т. 3, с. 9]. Во всех этих случаях на передний план выходит не первое, близкое классическому значению аллегории или метафоры, но второе значение, подчеркивающее ироническое отношение пишущих к роману², – «иносказание» [Полный толковый словарь..., 1914, с. 35], наименование неясного, зашифрованного; сами критики используют в качестве синонимов «туманный», «неясный», «претенциозный» и «аллегоричный», «метафоричный», что было видно из приведенных выше примеров. В метафоре в отличие от аллегории нет «готовой» идеи, обозначения для которой уже существуют в культурном поле, поэтому если критики и в самом деле говорят об аллегоричности романа, то этим лишь выражают свое отношение к «претенциозному» произ-

¹ Речь, по-видимому, идет о рассказе Достоевского «Крокодил» (1865), в котором, как считали его современники, был высмеян Н.Г. Чернышевский и демократически настроенная общественность в целом.

² Например, в словаре общеупотребительных слов под редакцией Н.А. Дубровского, выдержавшем множество переизданий в Российской империи, находим: «Аллегория (от аллос, иной, и агорин – говорить, выражать иное) – *ритор*. – иносказание: художественное изображение отвлеченных понятий посредством воплощения их в живых образах, в конкретных представлениях, напр., война, слава, весна и т.п. изображаются, как живые существа с качеством и внешностью, соответствующими отвлеченным понятиям» [Полный толковый словарь..., 1914, с. 35–36].

ведению, полному «простых» аналогий. Они интерпретируют образы, строго соотнося «новых людей» и «бесов» и принимают эту критику на свой счет¹. Подобная редукция ведет к тому, что слово «аллегория» становится не столько элементом анализа, сколько оценки.

В последующих обращениях к образам романа² их авторы часто используют или мотивный, или персонажный уровень, не объединяя их в одном высказывании. В текстах веховцев, подводящих итоги первой русской революции, как и в отзывах народников, эксплицирована ссылка на библейский источник и присутствует связка, характерная для сравнения. С.Н. Булгаков подчеркивает в статье «Героизм и подвижничество», опубликованной в «Вехах» (1909): «Достоевский в “Бесах” сравнивал Россию и, прежде всего, ее интеллигенцию с евангельским бесноватым» [Булгаков, 1991, с. 83]. Глагол «сравнивал» и указание на евангельский источник образа вводят реминисценцию, связанную с романом. Однако затем философ обращается к произведению для подкрепления собственных взглядов и переходит к реализованной метафоре: «Легион бесов вошел в гигантское тело России и сотрясает его в конвульсиях, мучит и калечит. Только религиозным подвигом, незримым, но великим, возможно излечить ее, освободить от этого легиона» [Булгаков, 1991, с. 83].

В эссе идейного оппонента веховцев Мережковского «Пророк русской революции (К юбилею Достоевского)» (1906) границы художественного мира и мира реального более конкретны: «Социалисты, по уверению Достоевского, “хотят залить мир кровью”, и он за это считает их бесноватыми; но ведь и сам он того же хочет,

¹ Напомним, что сам текст допускает намного более широкие трактовки. Местоимение «мы» в монологе старшего Верховенского подчеркнуто не подчинено социальным барьерам, оно сокращает дистанцию между разными общественными классами и позициями, Петрушей, самим Степаном Трофимовичем и другими «бесноватыми»: «Это мы, мы и те, и Петруша et les autres avec lui, и я, может быть, первый» [Достоевский, 1990, т. 7, с. 611].

² В символистской критике произведения Достоевского (в том числе «Бесы») получили статус ключевых текстов культуры (А. Белый, М.А. Волошин, А.Л. Вольнский, Вяч. И. Иванов и др.). Однако мы не обращаемся к этому пласту рецепции, так как роман здесь рассматривается как внеположный исторической действительности.

с той лишь разницей, что революционеры, подобные Шигалеву, требуют “сто миллионов голов”, во внутренней, – а реакционеры, подобные Достоевскому, во внешней политике» [Мережковский, 1914, т. 14, с. 204]. Оборот «по уверению Достоевского» здесь указывает на дистанцию между мнениями Достоевского и Мережковского. Характерно и то, что Мережковский воспринимает героев Достоевского в роли вневременных типов («революционеры, подобные Шигалеву»).

В текстах периода первой русской революции персонажный и мотивный уровни, как видим, могли использоваться независимо друг от друга. Они вновь «воссоединяются» и становятся актуальными во время (и после) революций 1917 г. При этом происходит значимое изменение в структуре тропов – так, по крайней мере, обстоит дело с тем материалом, который мы далее рассматриваем (в основном это частные дневники).

Приведем показательный пример записи диалога из дневника офицера И.С. Ильина от 4 октября 1917 г.: «С Россией? <ответ на вопрос., что станет с Россией. – М. Р.> А она, как раскаявшийся юродивый, “сядет у ног Христа”, кажется так, или, во всяком случае, что-то вроде. “Бесы” чем гениальны? Там же все персонажи указаны! Ленин – это Ставрогин, Петр Степанович¹ – взгляните только – это же наша интеллигенция: кадеты, которые продавали землю, собирая чемоданы, чтобы ехать в первую Думу объявлять, что землю надо отдать крестьянам; молодой Верховенский – это Бронштейн-Троцкий: нагадить! Так нагадить, побольше нагадить, чтобы миру стало тошно! А Шатов – наше офицерство, которое с красными бантами пошло признавать Временное правительство и вмиг предало своего монарха?! А Кириллов? Это ли не наши студенты в косоворотках – все ищущие правды в мировом, планетарном масштабе...» [Ильин, 2016, с. 232].

Здесь реальный денотат «Россия» согласуется со словосочетанием из евангельской притчи «сядет у ног Христа»; и даже конструкция с оборотом «как» лишь усиливает полноценный образ – Россия, сидящая у ног Христа, а не указывает на границу между реальным и художественным (Россия похожа на юродивого, кото-

¹ Как и многие его современники, Ильин (или его собеседник) путает имена Степана Трофимовича и Петра Степановича Верховенских. – *Прим. авт. ст.*

рый сидит у ног Христа)¹. На персонажном уровне более выраженным становится сравнение (в широком смысле слова) конкретных персонажей с определенными явлениями действительности. Синтаксическое построение фраз при этом сопоставимо с тем, что мы наблюдали в отзывах 1870-х годов: между явлениями разного порядка обнаруживается связь, между частями предикативной синтагмы ставится тире. Однако принципиальным отличием становится изменение характера сдвига – он происходит не в значении, а в референции. Сравнение, которое «дешифровал» в своем отзыве, например, Ткачев, основано на метафорической связи, оно обнажает сущность предмета: природу «новых людей» можно понять, применив к ним слово «бесы». «Бесы» там выступали в роли предиката, который характеризует, по выражению Ткачева, «юношей». В сравнениях же Ильина вместо метафорических связей устанавливаются метонимические. Структура метонимии предполагает не характеристику субъекта с помощью предиката, но характеристику посредством другого субъекта. При этом метонимия направлена не на определение сущности предмета, но на его идентификацию (даже классификацию): «Поэтому метафора – это прежде всего сдвиг в значении, метонимия – сдвиг в референции» [Арутюнова, 1990, с. 31–32]. Основания метонимических связей могут быть напрямую не эксплицированы («...это Ставрогин»), ими могут становиться функциональные сходства или подобие в оценочных характеристиках пишущих (часто экспрессивные, стилистически сниженные глаголы: «...молодой Верховенский – это Бронштейн-Троцкий: нагадить! Так нагадить, побольше нагадить, чтобы миру стало тошно!»). Эти метонимии могут обозначать и часть реальной общности: «Петр Степанович – взгляните только – это же наша интеллигенция: кадеты, которые продавали землю, собирая чемоданы, чтобы ехать в первую Думу объявлять, что землю надо отдать крестьянам <...> А Шатов – наше офицерство, которое с красными бантами пошло признавать Временное правительство и вмиг предало своего монарха?! А Кириллов? Это ли не наши студенты в косоворотках – все ищущие правды в мировом,

¹Согласование глагола, отсылающего к «реальному миру», с «фиктивным» денотатом характеризует реализованную метафору или знаменует переход метафоры в образ [Арутюнова, 1990, с. 32].

планетарном масштабе...». Все эти метонимические связи обладают свойствами, на которые указывает Р. Якобсон, проводя границу между реализмом, искусством метонимических связей, и символизмом / романтизмом, направлениями «метафорическими» [Якобсон, 1996]. Такое разграничение позволяет ученому подчеркнуть способность метафоры сближать субъекты и предикаты разных миров (художественного и реального, живого и неживого и т.д.), а также свойство метонимии – соотносить субъекты одного порядка. Так, в нашем случае сближение «Ленин – это Ставрогин», подразумевающее отождествление их ролей (вождь или ложный вождь), предполагает наличие субъектов одного порядка¹.

В то же время обращения к персонажному и мотивному уровням романа могут совершаться независимо друг от друга. При этом «бесовство» все чаще выступает в роли образа или реализованной метафоры. Именно так Пришвин обыгрывает эпитафию «Бесов» в дневниковой записи от 26 января 1920 г.: «Хорошо тому больному, бес которого покинул последнего, а каково тому, кого бес этот покинул Бог знает еще когда и ему надо сидеть так дожидаться...» [Пришвин, 1995, с. 17]. Та же конструкция встречается и в рассуждениях Шингарева и Ильина: «Только скоро ли бесноватые исцелятся и бесы ринутся в стадо свиней?» [Шингарев, 1918, с. 17]; «С Россией? А она, как раскаявшийся юродивый, “сядет у ног Христа”» [Ильин, 2016, с. 232]. Как видим, кроме «внутренней» трансформации (либо образы «Бесов» «продолжают» рассуждения авторов, так что грань между описаниями мира художественного и мира реального стирается, либо денотат согласуется с «фиктивным» субъектом), здесь также видна другая общая черта – нет ссылки на евангельский источник образов и монолог старшего Верховенского.

¹ Такие конструкции встречаются не только в личных записях, но и в публицистике того времени. Ср. со статьей кадета Рысса, вырезку из которой поместил в своем дневнике Каблуков от 31 декабря 1917 г.: «Вот Верховенский – отец, который уверяет, что “мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками... мы их ввели в моду... мы надевали лавровые венки на шивые головы”. <...> Пред нами во всем своем великолепии проходят современные Верховенские, Шигалевы, Липутины, Ставрогины» [Каблуков, 2009, с. 196]. Подобные употребления имен персонажей дают исследователю возможность рассматривать их в качестве трансформации реалистически понимаемого типа.

Чрезвычайно распространенным становится сравнение персонажей Достоевского и конкретных исторических лиц на основе метонимических сходств – наружности, повадок, внешнего впечатления или конкретных действий: «мерзким, скользким», опасным Верховенским называет Бенуа комиссара П.М. Макарова [Бенуа, 2016, т. 2, с. 299], Верховенскому приписывается желание «нагадить, чтобы миру стало тошно» [Ильин, 2016, с. 232], мучить Россию «в кровавом кошмаре» [Шингарев, 1918, с. 17], «нас потопить, а самому вылезть сухим из воды» [Бенуа, 2016, т. 2, с. 299].

Эпитеты, которыми наделяют авторы дневников в это время Верховенского, не имеют точных эквивалентов в романе, но передают чувственно-конкретное восприятие действительности. В то же время сама специфика романного образа нивелируется – мы не встретим обсуждения «идей героев». Так, А.Н. Бенуа, называя знакомого эсера Петром Верховенским, подчеркивает характеристики, которые могут показаться описанием «душевного строя» персонажа, однако эти описания состоят из отсылок не к особенностям Верховенского-героя, но к другим негативным, в представлении Бенуа, литературным образам: «презрение к народу, вкусы кисейной барышни и типичное чувство из подполья» [Бенуа, 2016, т. 2, с. 281].

Еще раз подчеркнем: значимым здесь кажется то, что основаниями для сближения становятся принадлежность к социальной группе или функция, роль, но не отдельные или общие идеи персонажей, как в текстах народников и веховцев.

В своем анализе мы остановились на текстах пяти дневников, однако схожую картину можно наблюдать и в других записях этих же лет – у А.В. Тырковой-Вильямс, Н.Ф. Финдейзена, Р.М. Хин (в разные периоды жизни – Фельдштейн, Хин-Гольдовская) и у их современников в более редуцированных вариантах.

Итак, краткий анализ характера сопоставления элементов романа «Бесы» и исторических лиц в наших источниках позволил наметить тенденции до- и послереволюционной рецепции произведения. В первых откликах на роман персонажи воспринимались в качестве образов и типов, в мотивах «бесовства» виделась метафора или реализованная метафора. Эта традиция продолжается и в публицистических текстах рубежа веков (в том числе тех, появление которых спровоцировала первая русская революция 1905 г.).

Более заметное изменение видим во время революций 1917 г. и в последующие годы, когда персонажи Достоевского сравниваются с образами действительности на основании метонимических связей (часть от целого, функция, роль, сходство в чувственно-конкретном восприятии); мотивы выступают в качестве реализованной метафоры, указания на их интертекстуальность (евангельский эпиграф и цитирование Евангелия в романе) встречаются реже.

Интерпретация подобной картины может осуществляться двумя способами. К первому относятся лингвистические представления о естественной эволюции часто используемых конструкций (метафора может перейти в разряд образов); ко второму – литературоведческие концепции связи повествовательных форм и мировосприятия. Мы можем лишь указать на закономерности, найденные в рамках нашего материала: восприятие персонажей Достоевского в качестве образов, а не определенных внешних атрибутов, характерно для текстов, более направленных на имманентный анализ романа, чем на реальность; реализованная метафора или образ (а не просто метафора) появляются в тех случаях, когда авторы проводят сравнение художественного мира романа и реальной действительности или соглашаются с ним (эссе Булгакова, дневниковые записи 1917–1920-х годов). Причину этой «конкретности» сравнений, возможно, стоит искать во внешних обстоятельствах – событийной плотности революционной действительности, которая вынуждает не столько говорить о сущности явлений, сколько идентифицировать и тем самым «картографировать» постоянно изменяющуюся реальность путем метонимических сопоставлений. Так или иначе, вне зависимости от возможных перемен мировосприятия в этот период, все еще остается незыблемой традиция соположения реальности и художественного мира с помощью риторических приемов, будь то разновидности метафор в первых откликах на роман или метонимии в дневниках революционного времени.

Список литературы

1. *Авсеенко В.Г.* Общественная психология в романе // *Русский вестник.* – 1873. – № 8. – С. 798–833.

2. *Арутюнова Н.Д.* Метафора и дискурс // Теория метафоры : сборник / общ. ред. Н.Д. Арутюновой, М.А. Журиной. – Москва : Прогресс, 1990. – С. 5–32.
3. *Белов С.В.* Ф.М. Достоевский. Указатель произведений Ф.М. Достоевского и литературы о нем на русском языке, 1844–2004. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2011. – 755 с.
4. *Бенуа А.Н.* Дневник : [в 3 т.] – Москва : Захаров, 2016. – Т. 2: 1916–1918 / сост. И.И. Выдрин. – 726 с.
5. *Булгаков С.Н.* Героизм и подвижничество // Вехи. Интеллигенция в России / сост., коммент. Н. Казаковой ; предисл. В. Шелохаевой. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – С. 43–84.
6. *Булгакова Н.О., Седельникова О.В.* Концептосфера романа Ф.М. Достоевского «Бесы» : к определению базового концепта и его функции в поэтике романа // Вестник Томского государственного университета. – 2018. – № 54. – С. 125–146.
7. *Достоевский Ф.М.* Собрание сочинений : в 15 т. – Ленинград : Наука, 1990. – Т. 7 / ред. и прим. В.А. Туниманова ; подгот., прим. Т.И. Орнатской, Н.Ф. Буданова ; прим. Н.Л. Сухачева. – 846 с.
8. *Егоров О.Г.* Русский литературный дневник XIX в. : история и теория жанра. – Москва : Флинта : Наука, 2003. – 280 с.
9. *Ильин И.С.* Скитания русского офицера : дневник Иосифа Ильина, 1914–1920 / подгот. текста, вступ. ст., прим. В.П. Жобер, К.В. Чащина. – Москва : Книжница : Русский путь, 2016. – 480 с.
10. *Каблуков С.П.* Дневник Сергея Платоновича Каблукова. Год 1917 / предисл., публ. и коммент. Е.М. Криволаповой // Литературоведческий журнал. – 2009. – № 24. – С. 138–234.
11. *Ляпушкина Е.И.* О двух типах рецепции романа Достоевского «Бесы» в XX веке // Мир русского слова. – 2016. – № 3. – С. 52–57.
12. *Мережковский Д.С.* Полное собрание сочинений : в 24 т. – Москва : Типография товарищества И.Д. Сытина, 1914. – Т. 14. – 244 с.
13. *Михайловский Н.К.* О «Бесах» Достоевского // Михайловский Н.К. Литературная критика и воспоминания / сост., вступ. статья М.Г. Петровой, В.Г. Хороса. – Москва : Искусство, 1995. – С. 48–84.
14. Полный толковый словарь всех общеупотребительных иностранных слов, вошедших в русский язык, с указанием их корней / сост. Н.А. Дубровского. – Москва : издание А.Д. Ступина, 1914. – 768 с.
15. *Пришвин М.М.* Дневники 1920–1922 гг. / подгот. текста Л.А. Рязановой; коммент. Я.З. Гришиной, В.Ю. Гришина. – Москва : Московский рабочий, 1995. – 336 с.
16. *Ткачев П.Н.* Избранные сочинения на социально-политические темы : в 6 т. / ред., вступ. ст. и прим. Б.П. Козьмина. – Москва : Изд-во об-ва политка-торжан, 1933. – Т. 3: 1873–1879. – 503 с.
17. *Федорова Л.Г.* Реминисценция // Литературная энциклопедия терминов и понятий / ред. А.Н. Николюкина. – Москва : Интелвак, 2001. – С. 870.

*Литературные реминисценции в дневниках революционной эпохи:
продолжение традиции или ее переосмысление?*

18. *Чернышов И.С.* Прижизненная критика романа Ф.М. Достоевского «Бесы» в контексте авторской стратегии издания романа // Новый филологический вестник. – 2018. – № 3(46). – С. 124–137.
19. *Шингарев А.И.* Как это было : дневник А.И. Шингарева. Петропавловская крепость, 27.XI.17. – 5.I.18 / изд. Комитета по увековечению памяти Ф.Ф. Кокошкина и А.И. Шингарева. – Москва : Типолитография Товарищества Н.Н. Кушнерев и Ко, 1918. – 68 с.
20. *Якобсон Р.* Метафорический и метонимический полюсы // Якобсон Р. Язык и бессознательное / пер. с англ., фр. К. Голубович, Д. Епифановой, Д. Кротовой, К. Чухрукидзе, В. Шеворошкина ; сост., вступ. слово К. Голубович, К. Чухрукидзе ; ред. пер. Ф. Успенского. – Москва : Гнозис, 1996. – С. 46–52.